

П. С. Глушаков

«М. М. Бахтин: 110», или Опыт рижского бахтиноведения

В феврале 2005 года Отделением славистики Латвийского университета была проведена конференция, посвящённая 110-летию со дня рождения М. М. Бахтина. Материалы конференции спустя год были опубликованы в Записках Латвийского университета¹.

Так уж получается с юбилейными научными встречами, что они неминуемо мобилизуют исследовательскую активность, но сами по себе в то же время являются любопытным фактом так сказать научной рецепции, определённым срезом, говорящим не только об объекте конференции, но и готовности сказать нечто новое, своё, подвести предварительные итоги, наметить перспективы и т.п. Рижская конференция не претендовала на «прорывные» концепции или архивные открытия, она, скорее, была посвящена не букве, но духу бахтинского наследия.

Приближение к Бахтину сквозь «магический кристалл» своей темы — вот, как представляется, основной пафос прошедшей конференции. Потому достаточно широкий диапазон эпох и имён не был здесь «собранием пёстрых глав». Так, рижская исследовательница Н. В. Кононова остановилась на вопросе о диалогических отношениях в лирике Давида Самойлова. В этой работе дан анализ рефлексирующего героя, способного видеть себя со стороны, как «другого», были рассмотрены также многочисленные случаи обращения поэта к адресованным формам высказывания, в которых также обнаруживается диалогическая природа художественного мышления Давида Самойлова, как и постановка в его лирике проблемы собеседника, читателя. В лирику Давида Самойлова входит не только «я» как «другой», но и реальный «другой», по отношению, к которому субъект речи занимает диалогическую позицию, наделяя его статусом

«я», а себя, воспринимая как «другого». Примечательно, что диалогичность понимается Н. В. Кононовой не сугубо «теоретически», но становится (применительно к анализу лирики Самойлова) экзистенциальной категорией, вторгающейся в жизнь самого поэта. Неслучайно (заметим, что подобные, казалось бы даже «бытовые» эпизоды будут появляться в целом ряде рассматриваемых работ) в этой связи упоминание о трагической кончине Самойлова, случившейся едва ли не подмостках театра, во время живого диалога со зрителем...

Среди докладов, выводящих разговор в поле «текст-действительность», следует выделить содержательное выступление А. И. Станкевич (Даугавпилский университет) «Два Петровича: карнавалы мотивы в прозе В. Маканина» и С. Н. Доценко (Таллиннский университет) «Мотив «прозрения» в мемуарной книге А. Ремизова «Подстриженными глазами».

Рижские учёные (Д. Р. Невская, Н. И. Шром, Т. Е. Барышникова, Т. В. Тополевская и другие) посвятили свои доклады вопросам пространственно-временного строения текстов, «создающего и созданного» в нарративной структуре, а также «диалогу» с Бахтиным в новейшей русской прозе.

Интересные и несколько неожиданные параллели провела в своей работе «Поклонение золотому тельцу: одесский роман немецкого писателя Р. Штратца и немцы в дилогии И. Ильфа и Е. Петрова» А. Энгель-Брауншмидт (Германия), утверждавшая, что смысловой контекст знаменитой дилогии И. Ильфа и Е. Петрова станет более проясненным, если его сопоставить с рядом «одесских» текстов. В этой связи интерес представляет «одесский роман» немецкого писателя Рудольфа Штратца (1864—1936) как произведение, обуславливающее иной, иноязычный литературный фон «Двенадцати стульев» и «Золотого тельца». Фиксируемая переключка «немецкого» и «русского» текстов возможна в плане представлений М. М. Бахтина о «чужом слове».

Белорусский литературовед А. И. Федута размышлял об истории литературы в связи с «большим диалогом» М. Бахтина. Л. В. Спроге (Латвийский университет) коснулась темы вербализации портрета в русском символизме и акмеизме, а

С. Н. Дауговиш сосредоточился на «классической» бахтинской проблеме «жанровой памяти» Достоевского.

Жанру — категориальному для Бахтина понятию — посвятил своё обширное исследование ведущий латвийский литературовед Ф. П. Фёдоров. В лаконично названной работе — «Бахтин и теория романа» — он, в частности пишет: «Роман, как известно, был магистральной научной проблемой Бахтина. <...> О романе написаны тьмы и тьмы сочинений, но главное слово о романе сказал Бахтин; более того, Бахтин создал философию романа, безупречную по целостности и убедительности. <...> Но возникает вопрос, почему Бахтин, прервав изучение романа в разных его модификациях, обращается к Рабле, к «Гаргантюа и Пантагрюэль», роману во многих отношениях единственному, и посему первоначальное название его монографии и его диссертации (а это один и тот же на 1946 год текст) было «Рабле в истории реализма». Совершенно очевидно, что реализм у Бахтина — это не реализм как тип культуры XIX века. Реализм у Бахтина — это текст, ориентированный на реальность, в противоположность текстам, ориентированным на идеологию. На первый взгляд это выглядит парадоксом, но Бахтин, обратившись к Рабле, из сферы исторического уходит в сферу внеисторизма; Рабле понадобился как идеальная модель для провозглашения окончательных, абсолютных постулатов. Это, во-первых, а во-вторых, Бахтин, не покидая сферы литературоведения, уходит в сферу историософии. <...> Все, что написано и сказано Бахтиным, несмотря на определенную фрагментарность, которая, хотя и продиктована трагическими обстоятельствами жизни, является своего рода замыслом, представляет собой единый и совершенно законченный текст, историософский по своему семантическому ядру. И смысл этого ядра — утверждение незавершенности и незавершаемости всего сущего. Бахтинский терминологический арсенал — это разнонаименования (или: разноуровневые наименования) незавершаемости: реализм, мениппея, роман, хронотоп, гротеск, диалог, полифония, слово, карнавализация — это все, что в основе своей имеет историзм и амбивалентность, и это все, что относится к художественной сфере, но это все относится к

карнавалу, как истинной, родовой, «первичной» форме жизни, демонстрирующей человека и человечество в их первосущностном проявлении, и именно потому карнавал есть празднество — празднество первичности и незавершенности, точнее: первичной незавершенности. <...> Итак, Бахтин всеми своими сочинениями создает мощное, охватившее всю европейскую историю смеховое карнавальное пространство, пространство, суть которого заключена в единстве полярностей, определенном историзмом и амбивалентностью, в его «нетвердости», «неготовности», в его постоянной изменчивости и постоянной метаморфозе. И это карнавальное пространство альтернативно «окостеневшему» официально-государственному пространству, включая современное ему тоталитарное мироустройство единомыслия. И это карнавальное пространство порождает культуру, прежде всего литературу, в которой начальной стадией является мениппея и, которую в современности представляет роман, и которая в целом может быть названа «реализмом». И человек этого мира и этой культуры — «становящийся», не «готовый» человек. Пафос историософии Бахтина — антимонологический, антимифологический пафос. <...> Но весь парадокс бахтинского учения о тотальной карнавализации заключается в том, что, исповедуя ее как жизнь, не сводимую к монологу, к мифу, антимонологическую, антимифологическую по своему существу, Бахтин создает не что иное, как мифологию карнавала и мифологию карнавализации. Тождественность бахтинских терминов в этом плане означает одно: поглощение карнавальной формулой всех разнородных явлений бытия и культуры. Строя мифологию карнавальной жизни и карнавальной культуры, Бахтин, как и любой мифолог, пересекает границы науки и вступает в пространство историософии».

В финале рижских бахтинских штудий прозвучал доклад историка философии Е. Целмы «Идеи М. Бахтина в контексте современного гуманитарного знания». Здесь подведены итоги, намечены основные тенденции и «магистральные» (равно как и тупиковые) сюжеты и линии: «В конце 20-го — начале 21-го века наблюдается усиление интереса к М. Бахтину. Можно выделить некоторые общие тенденции:

1. Анализ идет в русле теории литературы (Рабле, Достоевский) и философии языка. При этом преобладает цитирование для доказательства идей исследователя.

2. Очевидны попытки модернизации теории М. Бахтина, которая связывается с идеями глобализации, постмодернизма и т. п. Думаю, что одной из причин этого является отсутствие переводов одной из основных философских работ М. Бахтина «К философии поступка». Но главное, наверное, все же связано с тем, что, хотя идея диалога в западной философии зазвучала в начале 20-го века в работах М. Бубера, Ортеги-и-Гасета, Ф. Розенцвейга, а позднее в работах П. Рикёра, Э. Левинаса и др., монологизм продолжает господствовать и в западной культуре».

В конце выступления Е. Целмы констатирован весьма прискорбный факт «зияющего» интереса к наследию М. М. Бахтина в Латвии: «К сожалению, в Латвии совсем не чувствуется интерес к творчеству Бахтина. Ни одна его работа не переведена полностью на латышский язык. Может быть, конференция в Латвийском университете станет началом диалога с М. Бахтиным?». Этот риторический вопрос явился, думается, «диалогическим действием»: разговор о Бахтине стал диалогом с Бахтиным, преодолев «герметичность» пространства и времени.

Рига

¹ Latvijas Universitātes raksti. Rīga, 2006, том 705. Доступно: <http://www.lu.lv/apgads/raksti/705.html>